



И.И. Панаев

Сочинения



Иван Панаев

Актеон

«Public Domain»

1860

Панаев И. И.

Актеон / И. И. Панаев — «Public Domain», 1860

«Село Долговка, ***ской губернии, **езда, выстроено на отлогой возвышенности по левую сторону речки Брысы, которая, красиво извиваясь, образует своим прихотливым течением небольшие островки. Эти островки, обсаженные густо разросшимися ивами, служат любимым приютом для барских гусей и уток, и потому почва их обыкновенно покрыта в летнюю пору гусиными и утиными перьями...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	16
Глава III	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Иван Иванович Панаев

Актеон

Actaeon Rhinoceros принадлежит к насекомым жесткокрылым (coleoptera). Имеет голову немного сплюснутую и украшенную однозубчатым рогом с раздвоенным концом, а брюшко полное. Как и все совершенные насекомые (Insectum declaratum), он не имеет красной крови в своем теле, а вместо оной снабжен беловатым соком; вместо же сердца длинным, неровной величины проходом. Сей актеон, подобно прочим своей породы, приготовляет себе логовища для своего продолжительного засыпания; любит водиться на скотопаствах, а особливо в коровьем навозе. Как и все насекомые, он необычайно плодовит; от преследования своих неприятелей защищается смрадом, который в случае нужды от себя распространяет.

(«Руководство к естественной истории» Blumenбаха, переведенное истории гражданской и географии учителями Петром Наумовым и Андреем Теряевым.)

Глава I

Село Долговка, ***ской губернии, **уезда, выстроено на отлогой возвышенности по левую сторону речки Брысы, которая, красиво извиваясь, образует своим прихотливым течением небольшие островки. Эти островки, обсаженные густо разросшимися ивами, служат любимым приютом для барских гусей и уток, и потому почва их обыкновенно покрыта в летнюю пору гусиными и утиными перьями. Напротив островков, саженях в двухстах от берега Брысы, стоит своеобразной архитектуры деревянный двухэтажный барский дом с мезонином и с огромным подъездом, между полустгнившими ступеньками которого уже прорывается местами трава. По обеим сторонам дома образуют полукруг одноэтажные флигеля, где помещаются: дворня, прачечные, ткацкие, столярные и прочее. Среди широкого и заросшего травой двора красуется деревянная раскрашенная статуя. Направо возвышается старинная пятиглавая церковь вроде Успенского собора; налево мелькают крылья ветряной мельницы. За барским домом большой темный сад, заросший крапивою, огород с капустою, пруд с тиною, развалившаяся оранжерея с бесплодными персиковыми деревьями, несколько десятков яблонь и вишен, несколько кустов малины, смородины и крыжовника. В конце сада баня, не обшитая тесом, ветхая и одним боком прислонившаяся к высокой рябине; за садом различные хозяйственные заведения, как-то: кладовые, амбары и псарня – здание величественное, занимающее довольно большое пространство; а далее крестьянские избы, или покачнувшиеся на сторону, или вросшие в землю, почти все крытые соломой, почерневшей от дождей и дыма. При въезде в село и при выезде из него торчат по два бревна, воткнутые в землю, с перекладиной наверху, называемые воротами, которые, впрочем, никогда не запираются, и плетень, заменяющий забор, через который, впрочем, может перелезть четырехлетний младенец. У этого плетня пестрые столбы с дощечками, на которых начертано: Село Долговка ***губернии **уезда. Помещика титулярного советника Петра Александровича Разнатовского, душ мужеска пола 810, дворов 102.

Но всего лучше в селе Долговке то место, где Брыса за островками круто поворачивает свое течение. У этого поворота устроена водяная мельница, и смиренная, тихая речка, по которой в жаркий летний день в иных местах проходят вброд ребяташки и куры, широко и красиво разливается у мельницы. Против самой мельницы, на противоположном берегу, растут, накло-

нясь друг к другу, дуб и береза, соприкасаясь своими вершинами, а у корней их лежит большой булыжник, как нарочно устроенная скамейка, покрытый мохом, точно бархатом. Хорошо в душливый июньский день, разлечься на этом камне в тени дружных деревьев, прислушиваясь к ропоту воды и глядя на необозримые поля, дышащие колосьями! Но всего замечательнее и удивительнее в Долговке мост через речку Брысу, при въезде в село. Он, кажется, едва держится на двух сваях, так что неопытный городской житель при всей отваге не решится пройти по нем не перекрестясь, – а вот уже десять лет, как по этому мосту (беззаботно проезжают крестьяне с возами, тяжело нагруженными сеном или хлебом, и помещики в своих колымагах, набитых перинами и подушками).

В одно майское праздничное утро 183* года в селе Долговке было необычайное движение. Все обоюга пола ревижские души находились в величайшем волнении. На главной улице села, которая от удивительного моста через реку Брысу шла прямо до самого выезда, – на этой улице, пошире и покрасивее других (ибо здесь находилась двухэтажная изба старосты с подзорами, крытая досками), молодые парни стояли вооруженные метлами, а бабы в кумачных сарафанах группами сидели на завалинах изб своих с младенцами на руках; мальчишки и девочки, подросточки, бегали с криком между поросятами и свиньями или валялись в мелкой пыли, которую парни сметали на сторону. Во внутренности изб оставались одни еле движущиеся старухи, или, лучше сказать, только их туловища, головы же их, впрочем, более походившие на грибные наросты у гнилых заборов, чем на головы, торчали из щелей, то есть из окон. «Что? Еще не видать кормильца-то?» – спрашивали они у молодежи. «Где-ста, еще рано!» – отвечали молодежи.

Но самое большее стечение народа было у моста. Там стоял управитель села, Назар Яковлич, чиновник 12-го класса, выключенный за взятки из коронной службы и рекомендованный помещику села Долговки г. Бобыниным, – человек среднего роста, плотный, с полным лицом и с сиповатым голосом.

– А что, Андрюха, – говорил он, сомнительно поглядывая на удивительный мост и обращаясь прямо к старосте, – мост-то плоховат, братец; ну, как он провалится... а?..

Староста, в красной рубахе, мужик здоровый и толстый, с белокурыми густыми волосами в форме шапки, с рыжеватой бородою, почесал в затылке и отвечал с тою милою беззаботностью, которая так идет к русскому человеку:

– А пожалуй, что и провалится!

– То-то же провалится! – продолжал управляющий, – осмотри-ка его хорошенько; долго ли до беды, Андрюха!

Староста начал внимательно осматривать мост.

– А что, батюшка Назар Яковлич, – сказал он, кончив осмотр и почесываясь, – разве что переменить эти две доски... вишь, они больно уж подгнили, а мост нешто себе: еще здоров.

Когда доски были переменены, управляющий оборотился к толпе крестьян, окружавшей его.

– Слышите же вы!.. сора из избы не выносить! – воскликнул он торжественно и подняв над головой сжатый кулак, – до барина никаких дрязгов не доводить, не смей беспокоить его ни жалобами, ни просьбами, а не то я по-свойски разведу с вами... .

– Зачем жаловаться, Назар Яковлич? Что прикажет твоя милость, то и будем делать. На то ты поставлен над нами набольший, – раздалось вдруг несколько голосов.

– То-то же! – говорил управляющий, – а в особенности ты, Еремка... – Управляющий обратился к мужику высокого роста, очень дородному, с густой черной бородой и с растрепанными волосами. – Ты всегда всех мутишь... учишь всему скверному... смотри, берегись у меня... тебе бы все в кабаке ходить да на печи лежать.

– Было бы на что еще в кабаке-то ходить, – проворчал Еремка.

Управляющий сделал вид, что не слышал этого, ворчанья, и продолжал:

– Если барин, примерно, спросит вас: «Ну, а довольны ли вы управляющим?», отвечать: «Довольны, батюшка Петр Александрыч, довольны, благодарим тебя, отец наш, за него». Слышите?

– Слушаем, Назар Яковлич. Крестьяне поклонились управляющему в пояс.

– Как только покажется вдали пыль и как махальный даст знать о том, что едет, вы сейчас и идите навстречу с хлебом-солью. Андрюха, а кто у тебя махальные-то?

Управляющий обратился к старосте.

– Кондрашка Лысый, – отвечал староста, – да еще Флегоска, Ермолаев сын.

– Ладно. Они, кажись, не зеваки?

– Уж сохрани господи своего барина прозевать, батюшка Назар Яковлич.

Управляющий вынул из кармана серебряные часы величиною с добрую репу, приложил их сначала к уху, потом посмотрел на них.

– Э-ге! сорок минут девятого. Надо быть, братцы, наготове.

В эту минуту солнце, скрывавшееся за грядю легких облаков, торжественно выглянуло, и блистательные лучи его весело заиграли на клеенчатом картузе управляющего.

– Кажется, и солнышко-то, – сказал он, значительно улыбаясь, – хочет вместе с нами радоваться и встречать Петра Александрыча.

Управляющий отошел в сторону от толпы крестьян и остановился на берегу немного левее моста. Там черпала воду в ведро девка лет восемнадцати, толстая, дородная и румяная, в новом сарафане.

– Здравствуй, Настя, – сказал ей управляющий. Глаза его подернулись маслом, и рот образовал гримасу.

Девка, не приподнимаясь, обернулась к нему и отвечала протяжно:

– Здорово, Назар Яковлич! – и потом равнодушно продолжала свое занятие.

– Что-то больно давно тебя не видно, Настя?

Дородная девка зачерпнула два полные ведра воды, положила на плечо коромысло и, казалось, не чувствуя ни малейшей тяжести, поднялась на берег.

– Право, что-то тебя не видно, Настя? – продолжал управляющий, подходя к ней, – а? – Он лукаво улыбнулся.

– Коли не видно, – отвечала Настя, – а на гумне-то?

– Да в самом деле! А я вот как только удосужусь после приезда Петра Александрыча, сейчас же съезжу в город, куплю тебе подвески...

Управляющий хотел еще продолжать разговор с Настей, но сзади его кто-то произнес голосом Стентора:

– Наше почтение Назару Яковличу.

Перед Назаром Яковличем предстал человек лет пятидесяти пяти, роста исполинского, в длинном сюртуке травяного цвета из деревенского сукна и в широких лазурного цвета кумачных панталонах, с лицом небритым и с грязными руками.

– А, Наумыч, как, брат, поживаешь? – спросил его управляющий.

– Какое наше житье! Как вы, сударь, можете?.. Что детки ваши? супруга?.. – Антон искоса посмотрел на удалявшуюся Настю.

– Хоть бы вы, Назар Яковлич, – продолжал Антон, – месячины нам прибавили... Ведь тридцать лет, сударь, служу, что, право! Сами знаете, батюшка, у меня этакая обуза детей, все есть требуют, что с ними будешь делать?

Управляющий несколько нахмурился.

– Грех сказать, Наумыч; у тебя месячина хорошая; зачем напрасно бога гневить? Живешь ты спокойно, как у Христа за пазухой; дела никакого нет.

– Да какая это месячина? – возразил Антон, наморщивая лоб, – при покойнике я какие, можно сказать, должности не произошел, и буфетчика и камардена... ну, разумеется, перепа-

дала копейка, а теперь откуда возьмешь? По миру идти не приходится. Хоть бы вы деткам синего суконца на платье пожаловали: совсем, ей-богу, обносились.

– Хорошо, хорошо, Наумыч.

– Ну, и за то дай бог вам здоровья! – Антон вынул из кармана тавлинку и понюхал, приговаривая: – И табачишка-то иной раз не на что купить... А сколько я за свой век барского-то добра сохранил. Вот хоть бы по воскресеньям: у нас обедали и исправник, и заседатель, и все эти, знаете, из города. Шампанское всегда из Москвы выписывали; бывало, кричит: «Антон, шампанского!», а у меня всегда наготове две бутылки – кто получше, ну, тому шампанского, а остальные, думаю себе, и цимлянским довольствуются, да еще губы оближут; не по коню корм, сударь. То, думаю себе, для хороших господ.

Управляющий засмеялся.

– Оно, конечно, – продолжал Антон, – молодые господа – это совсем не то; а мне, старику, что за дело! Я тридцать лет ихнему дяденьке служил. Да вон анамеднясь заседателя в городе встречаю. «А! говорит, Антон Наумыч, старый знакомый, здравствуй!» – «Здравствуйте, Федор Иванович». – «Что, брат, говорит, худо без старого барина?» – «Гм! разумеется, не то, что бывало, что толковать! Оно, конечно, еще по милости Назара Яковлича живем-таки; что-то будет, как новый барин приедет». – «Жаль, говорит, старичка, жаль!..» Не прикажете ли, батюшка Назар Яковлич, табачку?

Управляющий взял щепотку табаку и потрепал Антона по спине.

– Старые слуги, Наумыч, ей-богу, лучше новых, – это мое правило. Я об тебе поговорю Петру Александрычу, непременно поговорю.

– Дай вам бог здоровья, Назар Яковлич... Мы все довольны вами; а на мужичье-то нечего смотреть. Известное дело – козлиные бороды, лентяи... Вот, правда, из них Максим, Настин отец, мужик добрый, нечего сказать, и работающий... Не забудьте же, батюшка, суконца-то деткам на платяшко...

Речь Антона была прервана криком оторопевшего старосты:

– Его милость едет, едет!..

Махальный дал знак... Все пришли в движение. Крестьяне и крестьянки перешли за мост и остановились. Лица добрых крестьян и крестьянок необыкновенно вытянулись от любопытства и нетерпения; большая часть ртов раскрылась, все глаза устремились на дорогу – однако по дороге еще ничего не было видно. Узенькая дорога, извиваясь между засеянными полями, исчезала за оврагом, потом снова виднелась на горе и, наконец, совсем пропадала за мелким лесом, который окаймлял горизонт. Управляющий бегал из стороны в сторону, подергивая свой жилет. Его щеки заметно побледнели; с поднятым вверх кулаком он несколько раз обращался к крестьянам, повторяя:

– Смотрите же вы у меня! Антон проворчал:

– Пойду-ка обрадую барыню, – и направил свои исполинские шаги к барскому дому.

Весть о том, что «его милость едет», распространилась в одно мгновение по всей деревне, и в то время как Антон входил на крыльцо барского дома, пономарь бежал уже изо всех сил к колокольне. Бесконечные фалды сюртука пономарского, развеваемые ветром, уподоблялись крыльям летучей мыши, и длинная заплетенная коса, выпущенная пономарем сверх сюртука, болтаясь, ударяла его по спине.

Антон произвел величайшее волнение в барском доме. В этом доме с некоторого времени поселилась мать помещика – Прасковья Павловна, переехавшая из своей деревни, чтоб собственными руками приготовить все нужное к приезду сына, нежно любимого ею. Злые языки *** губернии утверждали, однако, будто она переехала в сыновнее имение потому, что совершенно прожила свое собственное. Как бы то ни было, достоверно только, что в продолжение двухнедельного своего пребывания в селе Долговке Прасковья Павловна постоянно вмешивалась во все хозяйственные распоряжения по женской части и совершенно поссори-

лась с женою управляющего Назара Яковлича. «Ей, бестии, – замечала Прасковья Павловна, – хорошо чужим добром распоряжаться, ей что беречь чужое добро! Вишь, как ее раздуло на чужом-то хлебе, – а он мой сын; мне его копейка так же дорога, как своя собственная, еще дороже!» Вскоре после приезда Прасковьи Павловны произошел еще совершенный разрыв между попадьей и дяконницей, но это не относится к моему рассказу. Дело в том, что Прасковья Павловна, услышав от Антона радостную весть о приближении своего сына, которого она не видала лет восемь, едва не упала в обморок. Она начала порываться к дверям и всхлипывать, приговаривая:

– Голубчик мой, ангел мой! наконец дождалась я этой минуты... Благодарю моего бога!..

Волнение Прасковьи Павловны было так велико, что находившаяся при ней с незапамятного времени девушка-сирота лет тридцати шести, дочь бедных, но благородных родителей, в испуге бросилась к Антону и закричала:

– Ах, какой ты неосторожный, Антон! Тебе следовало прежде меня предупредить, а то вдруг, как можно?... Ну кабы что случилось?

– А чему случиться-то? – возразил Антон с неудовольствием, отходя в сторону. – Не знаю я, что ли, как с господами говорить? Я при покойнике-то тридцать лет прослужил, слава богу; вишь, учить... вздумала... случится!..

– Анеточка! – сказала Прасковья Павловна, обращаясь к дочери бедных, но благородных родителей, – пойдем, душенька, к нему, к голубчику моему, навстречу... Нет, уж я не могу здесь дожидаться, как хочешь – не могу.

Прасковья Павловна тяжело дышала и беспрестанно подносила платок к глазам...

– Милый друг мой Петенька!.. Милый друг мой! – восклицала она от времени до времени в порыве материнского восторга.

– Поддай мне, Анеточка, мой платок, желтый, турецкий... Так вот, не поверишь, даже колена дрожат.

Дочь бедных, но благородных родителей принесла желтый платок.

Прасковья Павловна подошла к зеркалу и, несмотря на свое внутреннее волнение, стала поправлять перед зеркалом свой чепчик и надевать платок. Прасковье Павловне казалось лет под пятьдесят; она была очень дородна, имела рост средний, выщипывала слишком густые брови, подкрашивала седые волосы и вообще, кажется, желала еще нравиться.

Она вышла на крыльцо, сопровождаемая дочерью бедных, но благородных родителей. Там толпилась уже вся многочисленная дворня: псары, столяры, ткачи и проч., с женами и детьми. Антон переходил от одного к другому, от одной к другой и, нахмутив брови, рассказывал им о чем-то с важностию, усиливая свои рассказы выразительными жестами. У самого крыльца стояло человек до десяти исполинов, еще десять Антонов, которые, однако, назывались не Антонами, а Фильками, Фомками, Васьками, Федьками, Яшками и Дормидошками. Все они, впрочем, имели одно общее название малый. Эти «малые» были небриты и облечены в сюртуки до пят. С первого взгляда их невозможно было отличить друг от друга; но глаз зоркий и наблюдательный по заплатам, оборванным локтям и пятнам на сюртуках их, вероятно, успел бы подметить, чем Филька разнился от Васьки, а Васька от Федьки и так далее.

Прасковья Павловна на последней ступеньке крыльца была на минуту остановлена высокой и худощавой старухой, одетой несколько поопрятнее и получше других дворовых женщин. На этой старухе было надето ситцевое платье полурусского, полунемецкого покроя, до половины закрытое телогрейкою; голова ее тщательно была повязана шелковым платком, с бантиком на темени, а из-под платка торчали седые волосы. Она бросилась к Прасковье Павловне с криками:

– Матушка, сударыня... Сподобил-таки меня господь, окаянную, дожить до такой радости!.. Говорят, сокол-то мой ясный, красное-то мое солнышко, уж близехонько от нас!

Голова старухи тряслась, и слезы катились ручьем по ее морщинистым щекам.

– Да, Ильинишна, – отвечала Прасковья Павловна, поднося платок к глазам, – ах, батюшки мои! не знаю, что со мной будет от радости... Не перенесу этого, не перенесу!.. Пойдем к нему навстречу, няня.

Но няня не слыхала слов своей барыни: она была уже далеко. Мысль о свидании с тем, кого она вырастила и кого столько лет не видала, придала ей силу и бодрость изумительную. Семидесятилетняя старуха бежала с скоростью пятнадцатилетней девочки к знаменитому мосту, у которого мы оставили управляющего и крестьян с хлебом-солью.

Прасковья Павловна с дочерью бедных, но благородных родителей последовала за нею, а за ними двинулась вся дворня.

– Вот увидишь, Анеточка, – говорила дорогою Прасковья Павловна дочери бедных, но благородных родителей, – вот теперь сама увидишь, душа моя, каков мой Петенька; он совершенный бельом; брови, знаешь, этак дугой, немного похожи на мои; глаза голубые, бирюзового цвета, – не знаю, может быть, теперь переменились, – ведь ты знаешь, душечка, как непрочны голубые глаза, сейчас посереют. А уж как любит меня!.. И на воспитание, можно сказать, я ничего не жалела для него... Каких учителей у него не было! По-французски так и режет; уж на что, бывало, француз у нас в доме и тот заслушается его, как он, бывало, заговорит по-французски, ей-богу...

– А я горю нетерпением познакомиться с Ольгой Михайловной, – заметила дочь бедных, но благородных родителей, жеманно поправляя платочек, накинутый на ее голове, – натурально, у нее должно быть все особенное: столичная жизнь не то что наша, деревенская...

– О, что касается до моей Оленьки, – с жаром перебила Прасковья Павловна, – мне писали об ней из Петербурга, что она уж такая модница... такая... и красавица: черная бровь и римский нос. Самая, говорят, бонтонная дама... Это очень натурально: генеральская дочь. Кому же и быть на виду, как не генеральской дочери?

При этих словах на лице дочери бедных, но благородных родителей обнаружилось судорожное движение, и она начала кусать нижнюю губу.

– Ах, милая Анеточка, ты не испытала еще материнского чувства, – продолжала Прасковья Павловна, – и не можешь представить себе, дружочек, вполне моего положения...

Дочь бедных, но благородных родителей побледнела. Она никогда не могла равнодушно слушать о материнских чувствах и переменила разговор.

Между тем они подошли к мосту. Управляющий, увидев Прасковью Павловну, подбежал к ней. Он начал изгибаться перед нею, кланяться, рассказывать о своих распоряжениях.

Но Прасковья Павловна равнодушно слушала его, изредка кивая головою и принужденно улыбаясь. Вдруг речь словоохотливого управляющего прервалась. Он заикнулся на полслове...

– Пыль! Пыль! – кричала няня, – видите ли пыль?.. Это он, родимый мой, он!

Старуха стояла за мостом впереди всех и не сводила глаз с дороги. Ее сгорбленный стан выпрямился. Ее седые волосы, торчавшие из-под платка, развевал ветер; руки ее были протянуты к леску, из-за которого в самом деле подымался столб пыли, и глаза ее, всегда мутные и неподвижные, засверкали в эту минуту.

– Он! он! – повторила Прасковья Павловна, побежав на мост и таща за собою дочь бедных, но благородных родителей.

– Они! они-с! – кричал управляющий, следуя за Прасковьей Павловной.

Большая дорожная четырехместная карета, запряженная шестернею, выехала в эту минуту из-за леска и начала осторожно спускаться в овраг.

– Эй вы, голубчики, пошевеливайтесь! – кричал седобородый кучер, махая кнутом, когда лошади стали подниматься из оврага.

– Вытягивай, вытягивай постромки-то!

Карета выехала на ровное место, и в эту самую минуту раздался благовест, призывавший прихожан церкви села Долговки к обедне. Кучер снял шляпу и перекрестился. Из окна кареты выглянуло круглое лицо мужчины. Этот мужчина закричал кучеру:

– Стой, стой!..

Карета остановилась.

Лакей с сережкой в ухе, сидевший с ямщиком на козлах, с столичною ловкостью подбежал к дверцам и схватился было за ручку, как вдруг могучая рука Антона невежливо оттолкнула его и отворила дверцы.

Лакей с сережкой в ухе презрительно улыбнулся, посмотрел на Антона, а Антон, нахмурив брови, измерил его с ног до головы и проворчал себе под нос:

– Нам-ста не в диковинку, брат, этакие. Видали всяких!

Из кареты выскочил человек лет двадцати девяти, полный, белокурый, в камлотовом пальто, с черепаховым лорнетом на шнурке и в дорожной фуражке с длинную шелковую кистью.

Едва он успел коснуться одною ногою земли, как уже почувствовал себя в горячих материнских объятиях. Прасковья Павловна прижимала его к груди, стонала, охала и кричала раздирающим душу голосом:

– Петенька... Петенька... голубчик мой... Ты ли это, друг мой милый?.. Не во сне ли я? Узнаешь ли ты меня, батюшка мой?.. Дай посмотреть на себя...

Петр Александрыч – тот самый, который был известен читателю под именем Онагра, задыхаясь от поцелуев и ласк, не мог ни говорить, ни шевелиться. Так прошло минут пять. Наконец он освободился от объятий, перевел дыхание, отряхнулся, прокашлянул и сказал:

– Позвольте мне, маменька, представить вам жену мою.

Он оборотился назад и указал рукой на даму чет двадцати четырех, высокую и стройную, одетую просто, по-дорожному.

Лицо ее было бледно, большие черные глаза выражали утомление (очень натуральное после двухнедельной езды), густые волосы, некогда рассыпавшиеся локонами до плеч (и обратившие на себя внимание офицера с серебряными эполетами на бале госпожи Горбачевой), были зачесаны гладко.

Прасковья Павловна окинула свою невестку взглядом быстрым, пронизательным – и ринулась на нее с криком:

– Ангел мой!.. сокровище мое!.. Ольга Михайловна!.. Друг ты мой!.. Прошу полюбить меня... А я за вас молилась всякий день, ангел мой, ночи не спала, все думала, когда-то увижу моих родных деточек... Дай обнять себя, сердце мое!.. Дай посмотреть на себя... Здоровы ли ваша маменька, папенька, мой дружок?

Прасковья Павловна, не выпуская ее из объятий, отодвинула свою голову немного назад и посмотрела на невестку с выражением бесконечного умиления.

– Красавица! просто красавица! Ну, ни дать ни взять, как я видела вас, мое сердце, во сне. Я и Петеньке об этом писала: брюнетка, глаза навывкате, две капли воды... Поцелуйте меня, друг мой, милая дочь моя...

Та, к которой относились эти восторженные речи и восклицания, стояла несколько секунд с потупленными глазами, – и едва заметный румянец показался на щеках ее; потом она наклонилась, чтоб поцеловать руку свекрови.

– Что это вы, мой ангел! – закричала Прасковья Павловна, – как это можно! Стою ли я того, чтоб вы целовали мою руку?.. Лучше поцелуйте меня, моя родная... Вот это другое дело. Ну, не ошиблась я в Петенькином вкусе! Уж я в нем была уверена заранее... Такой выбор делает ему честь, а я, можно сказать, должна гордиться, что имею такую невестку... А где же внучек мой?.. Батюшка!.. вот он, а я и не вижу его!.. – Прасковья Павловна от невестки бросилась к внучку.

Пожилая женщина в чепце держала на руках дитя, которому казалось лет около двух. Прасковья Павловна начала целовать внука, а внучек начал реветь.

– Не плачь, Сашенька, – приговаривала Прасковья Павловна, – не плачь, херувим мой... С тобой говорит бабушка... Слышишь, друг мой, бабушка... Скажи: ба-ба! ба-ба!.. Вылитый отец, ей-богу!.. И глаза совершенно его, и рот... Вот и перестал плакать... умница!.. Он будет любить бабушку... Ведь даром что младенец, а он понимает, что я ему не чужая; и в этих крошках есть чувство...

– Скажите же, Александр Петрович: баба, – заметила нянюшка, – он у нас говорит, сударыня, мама, и папа, и баба...

– Ах, мой милый Сашурочка!.. Счастливым днем для твоей бабушки, подлинно счастливым... А я для тебя, ангел мой, гостинцу приготовила... Бабушка об тебе, и не зная тебя, заботилась... варенье ли варю или что этакое, все думаю: это моему Сашеньке...

Дочь бедных, но благородных родителей, оставшаяся в продолжение этих родственных сцен на втором плане, начинала уже явно тяготиться неловкостью своего положения. Она искоса посматривала на столичную даму и никак не решалась поступить против этикета, чтоб заговорить с ней, не будучи сначала ей представлена. Для этого она решилась деликатно напомнить о себе Прасковье Павловне. Она подошла к ее внуку и сказала с приятным выражением, закатив несколько глаза под лоб:

– Ах, какой прелестный ребенок!

– Анеточка, ты здесь, мой друг? – возразила Прасковья Павловна. – Боже мой, я тебя до сих пор не представила моим деткам... Ольга Михайловна, друг мой, – Петенька, позвольте мне отрекомендовать вам эту девицу... Она у меня взята вместо дочери... Я дала ее родителям слово на смертном одре не оставлять ее. Она круглая сирота, думаю себе, исполню священный долг, может быть, за это меня бог и не оставит... Полюбите ее, родная моя; я уверена, что вы с ней сойдетесь... Она у меня такая охотница до книг... все читает... у соседа нашего всю библиотеку прочла... романы страсть ее... вот вы вместе читать будете, гулять – и подружитесь.

Между тем как Прасковья Павловна занималась невесткою, внуком и дочерью бедных, но благородных родителей, к Петру Александрычу подошла старушка-няня, все время не спускавшая с него глаз и заливавшаяся слезами.

– Узнаешь ли меня, красное солнышко, батюшка мой? – произнесла она дрожащим голосом, утирая кулаком слезы и кланяясь в пояс, – кормилец мой, узнаешь-ли ты меня? Как ты переменялся, друг мой сердечный, какой молодец стал!.. Дай мне твою ручку...

Она схватила его руку и целовала ее, заливаясь слезами.

– А ты мало переменялась, няня! все такая же. Право.

– Как не перемениться, кормилец?.. Совсем стара стала... И глухота-то одолела меня, почитай что уж год – с Петрова дня на правое ухо совсем не слышу, – и ноги-то уж не так ходят... Думала, что господь и не сподобит меня увидеть моего сокола ясного. Боже мой, боже мой!

Няня качала головой и вздыхала.

– Давно ли, кажется, я носила тебя на руках? а вот уж у тебя и у самого детки. Бывало, я ем кислую капусту, а ты, голубчик мой, кричишь: «Няня, дай капусты!..» – ей – богу. Ты уж, я думаю, забыл об этом? А ведь маленький какой был охотник до капусты!.. Кушаешь ли теперь ее, батюшка? Где, я чай. Теперь тебе не до того! Покажи же мне, кормилец мой, барыню-то свою и сынка-то твоего.

– Изволь, изволь, няня... А что, скучно, я думаю, в деревне? – спросил, улыбаясь, Петр Александрыч, обращаясь к управляющему.

Управляющий, стоявший все время в почтительном отдалении от владельца, подбежал к нему, снял картуз и отвечал:

– Это как кому-с, Петр Александрыч. Я, признательно вам скажу, не заметил, как и время прошло, в постоянных заботах и в попечении о благоустройстве.

– Я ведь только на время приехал сюда, – заметил Петр Александрыч, – надоело немножко в столице, хотел, знаете, так, проветриться... Эй, Гришка!

– Чего изволите-с?

– Дай кучеру... как бишь его зовут... на водку целковый или пять рублей.

– Не извольте беспокоиться, – сказал управляющий, – я сейчас сам пойду, отдам ему целковый и скажу, чтоб выпил за ваше здоровье.

Управляющий поклонился Петру Александрычу и побежал к седобородому кучеру. Петр Александрыч обратился к няне:

– Няня, пойдем же к жене моей!

– Пойдем, батюшка, пойдем, красное мое солнышко.

– Ольга Михайловна, рекомендую мою няню. Няня поклонилась в пояс.

– Дай, матушка, мне ручку твою.

Ольга Михайловна вся вспыхнула, спрятала свою руку и поцеловала старуху.

– Вот, матушка, какого молодца вынянчила для тебя, – говорила ей няня, – слава богу, меня перерос, красавец мой... Позволь мне, сударыня, теперь твоего сынка понянчить хоть немножко. Прости меня, деревенскую дуру, что я беспокою тебя.

– Ничего, изволь, няня, – сказала Ольга Михайловна и, взяв сына к себе на руки, передала его старухе.

Старуха была вне себя от радости: она смеялась, и плакала, и целовала дитя, которое, увидев себя на руках незнакомой женщины, вдруг закричало изо всей мочи.

– Ничего, матушка, ничего, – проговорила няня, качая дитя и приподнимая его, – не беспокойся; уж я знаю, как с детьми обращаться: не первый, слава богу, у меня на руках.

В самом деле, через несколько минут дитя перестало кричать и осталось на руках у торжествовавшей старухи.

– Пойдемте же теперь к крестьянам, голубчики мои, – сказала Прасковья Павловна, обращаясь к сыну и невестке, – они ожидают вас с хлебом-солью; а там, как водится, пройдем в церковь возблагодарить господа бога за ваше счастливое путешествие, да зайдемте, мои родные, на могилу дядюшки поклониться ему: его, нечего сказать, есть чем помянуть: оставил вам состояние богатейшее...

– Да, разумеется, – заметил Петр Александрыч. – Эй, Гришка! пусть карета едет; мы пойдем пешком.

Петр Александрыч подошел к толпе крестьян, ожидавшей его. За ним двинулись все, исключая Филек, Фомок, Дормидошек с их женами и детьми, которые окружили карету своего барина и с диким любопытством рассматривали прибывших из столицы горничную и лакеев.

Петр Александрыч вставил в глаз лорнет и начал осматривать крестьян своих.

Староста подошел к Петру Александрычу с хлебом и солью, низко кланяясь. А за ним также поклонились все крестьяне.

– Эй, любезнейший! – закричал Петр Александрыч управляющему, – возьмите-ка у него хлеб.

Староста отдал хлеб управляющему и поклонился барину своему в ноги.

– Кель табло! Сэ тушан. Не-спа. ма-шер? – произнес Петр Александрыч.

Засим господа, в сопровождении крестьян и дворовых людей, торжественно отправились к церкви. Управляющий, с открытой головой, шел рядом с Петром Александрычем. Несколько крестьянских мальчишек и девчонок, с растрепанными волосами льняного цвета, бежали перед господами задом, выпучив на них глаза, – и Антон, желавший обратить на себя внимание своего нового барина и следовавший тотчас за ним, поймал двух или трех мальчишек за ухо, оттолкнул их в сторону и произнес, нахмурив брови:

– Прочь вы с дороги, замарашки скверные! Господа изволят идти, а они тут под ногами шмыгают.

Прасковья Павловна, шедшая возле своей невестки, вдруг посмотрела на нее с выражением самой искренней нежности, протянула ей руку и сказала:

– Так-то, мой ангел Ольга Михайловна!..

Потом, спустя минуты две, опять обратилась к ней:

– Знаете ли, душенька моя, что у меня в уме вертится?.. Уж вы на меня сердитесь или нет, как хотите, а я не могу. Я буду называть вас, друг мой, просто Оленькой, если вы позволите мне; я буду говорить вам ты, – воля твоя, не могу – веришь ли, к кому у меня сердце лежит, так язык как-то не поворачивается сказать тому человеку вы. У меня, родная моя, сердце открытое, – что на уме, то и на языке, терпеть не могу скрытных. Уж как ты хочешь, милая, а я тебя буду называть ты...

– Мне очень приятно... я вас прошу об этом, – отвечала Ольга Михайловна.

– Спасибо, мой друг, спасибо тебе, – перебила Прасковья Павловна, – я буду уметь ценить твое расположение, поверь мне: я буду к тебе как родная мать, а не как свекровь. У тебя чувства прекрасные, это сейчас видно. Что у тебя будет на сердце – горе или радость, прямо иди к своей маменьке: я разделю все с тобой, мой друг!.. Вот она мне и чужая... – Прасковья Павловна указала на дочь бедных, но благородных родителей, – а она тебе скажет, умею ли я чувствовать... Я всю жизнь свою...

Прасковья Павловна вдруг замолчала и перекрестилась, потому что они подошли уже к самой церковной паперти, где ожидал их священник и дьякон.

Приложась к кресту, господа отправились на ограду, к могиле бывшего владельца села Долговки.

На этой могиле возвышался памятник из дикого камня с мраморным крестом наверху. Он был сооружен по рисунку, присланному Петром Александрычем из Петербурга. На двух мраморных досках его было вырезано золотыми буквами – с одной стороны:

От признательного племянника – дяде. Здесь покоится тело раба божия, отставного майора Виктора Яковлевича Требушова, родившегося в 1779 году, февраля 8, скончавшегося внезапно от удара 1834 года ноября 9-го. Всего жития его было: 55 лет 8месяцев и 1 день.

С другой стороны:

От нас сокрылся ты, увы! и так поспешно,
Оставив нас страдать в юдоли грустной сей.
В знак благодарности племянник неутешный
Над прахом родственным воздвигнул мавзолей!

Петр Александрыч преклонил колено перед этим памятником, Прасковья Павловна положила перед ним три земные поклона и потому прослезясь, облобызала мраморную доску с надписью. Вслед за этим она обернулась, к своему внучку и сказала:

– Сашурочка, душенька, вот здесь похоронен твой дедушка. Он наш всеобщий благодетель, мы всем ему обязаны.

Внучек, в ответ на эту бабушкину речь, промычал что-то такое... Бабушка поцеловала внучка, приговаривая: «Сокровище мое милое, понятливое дитя», и повела новоприезжих в церковь, а оттуда к дому.

– Довольны ли вы своим наследием, мои милые? – спрашивала Прасковья Павловна у детей своих.

– Очень, – отвечал Петр Александрыч, вставляя лорнет в глаз и озираясь кругом, – приятное местоположение.

– Ты, кажется, утомилась, друг мой Оленька? Такая что-то бледная? Это очень натурально с дороги... Тебе бы виски потереть одеколончиком: это бы сейчас тебя освежило...

– Она всегда такая бледная, – заметил Петр Александрыч, – впрочем, бледность, маменька, в моде.

– Именно так, – сказала Прасковья Павловна, – бледность придает интересность. Признаться, я терпеть не могу красных щек... Ты совершенно, Оленька, в моем вкусе.

Дочь бедных, но благородных родителей, в свою очередь, сказала Ольге Михайловне несколько очень ловких комплиментов, и, таким образом разговаривая, они подошли почти к самому дому.

Петр Александрыч первый ступил на крыльцо... На крыльце ожидали его Дормидошки, Фильки, Фомки и проч. Они отвесили барину низкий поклон.

– Вот это твои дворовые, голубчик, – закричала Прасковья Павловна, указывая на грязных исполинов, – прислуга у покойника была большая, он любил жить по-барски.

Антон отворил Петру Александрычу дверь в сени.

– А вот этот, Петенька, – продолжала Прасковья Павловна, указывая на мрачного Антона, – был камердинером при братце.

– И буфетчиком, сударыня, – возразил Антон, – и главный надсмотр имел надо всем. Слава богу, таки послужил, матушка!

Управляющий забежал вперед.

– Не будет ли угодно чего приказать, Петр Александрыч? – спросил он.

– Нет, спасибо, покуда ничего.

– Ну вот, хозяйюшка моя дорогая, – сказала Прасковья Павловна, целуя свою невестку, – поздравляю тебя; ты теперь у себя в доме, а мы гости твои. Прошу нас любить да жаловать.

– Милая Ольга Михайловна! – произнесла дочь бедных, но благородных родителей, закатывая глаза под лоб.

Ольга Михайловна только улыбнулась на эти приветствия.

– Сюда, сюда, Оленька!

Прасковья Павловна схватила ее за руку и ввела в сени... За ними последовала дочь бедных, но благородных родителей, обе няни и Гришка с чемоданом на голове.

Антон проводил Гришку глазами и, обращаясь к Дормидошке, сказал:

– Вишь, молокосос, а какое тончайшее сукно на сюртуке! Спроси-ка, почем аршин этакого сукна! А мы вот и до седых волос дожили, служили не хуже его, а целый век проходили в этой дерюге.

Антон плюнул.

– Ах ты, жисть проклятая!

Глава II

Только что Петр Александрыч и жена его вошли в первую комнату, Прасковья Павловна остановила их, ушла и минуты через две воротилась с образом в вызолоченной ризе.

– Наклонитесь, друзья мои, – сказала она сыну и невестке, – дайте мне благословить вас. Вот так... Этот образ ты особенно должен уважать, друг мой Петенька; он переходил у нас из рода в род, и кого ни благословляли им, все жили необыкновенно счастливо, и покойница маменька и я; только богу не угодно было продлить к моему счастью дней моего голубчика Александра Ермолаевича.

При сем Прасковья Павловна заплакала.

– Как мне ни тяжело было, а я перенесла это испытание. Чего, подумаешь, человек не в состоянии перенести!.. Желая вам, милые, чтоб вы всегда так же согласно жили, как я жила с моим голубчиком. Более этого я ничего не умею пожелать вам.

После благословения подали кофе, и потом все занялись разбором чемоданов. Прасковья Павловна и дочь бедных, но благородных родителей последовали за Ольгой Михайловной в ее комнату.

– Мне хотелось бы, – сказала дочь бедных, но благородных родителей, подходя к Ольге Михайловне, – быть вам чем-нибудь полезной; позвольте помочь вам разобрать ваши вещи...

Ей смертельно хотелось посмотреть гардероб столичной дамы.

Ольга Михайловна отвечала на это обязательное предложение наклоном головы и пожатием руки...

Каждую ленточку, каждую манишку, каждый платок, каждое платье, вынимаемые из чемоданов, дочь бедных, но благородных родителей пожирала жадными глазами. Она и Прасковья Павловна беспрестанно повторяли:

– Ах, как это мило! как это прелестно! ах, с каким это вкусом!

Время до обеда пролетело незаметно. В два часа доложили, что кушанье подано...

В столовой вокруг стола за каждым стулом стоял тяжело дышащий исполин; Антон был тут же. Несмотря на такое количество прислуги, кушанье подавалось медленно, потому что каждый из исполинов имел привычку, переменяв тарелку, удаляться с нею прежде в буфет и там долиживать барские остатки.

Петр Александрыч, садясь за стол, посмотрел на часы.

– Еще только два часа, – сказал он, потягиваясь, – а мы в Петербурге ранее шестого часу никогда не садились обедать.

– Наше дело деревенское, – заметила Прасковья Павловна.

– А это, маменька, что за вино?

– Не могу тебе сказать, дружок; это уж не по моей части.

Петр Александрыч налил вино в рюмку, поднял ее к свету, отпил немного, поморщился и выплюнул.

– Что это за гадость! сладкое какое-то... Ведь у дядюшки, говорят, был славный погреб, и после него осталось много вин.

– Это виссантизм, – отвечал Антон, – дядюшка всегда изволили его кушать в будничные дни-с, когда гостей не было.

Петр Александрыч захохотал.

Прасковья Павловна сделала гримасу неудовольствия...

– Антон, у кого ключи от погреба?

– У кого-с? Известно у кого – у управляющего. Погреб припечатан его печатью.

– Беги же к нему, да скорей, принеси сейчас ключи ко мне, – сказал Петр Александрыч. Антон мигнул Фильке, и Филька побежал исполнить приказание барина.

– И хорошо сделаешь, голубчик, если ключи от погреба припрядешь к себе, – произнесла милительным голосом Прасковья Павловна, – а то на этого управляющего, – может быть, он человек и хороший, я не знаю, – не следует, кажется, совершенно полагаться...

Ключи были принесены. Петр Александрыч сам достал бутылку лафита и велел согреть ее.

После пирожного, которое было десятым кушаньем, исключая супа, подали различных сортов наливки.

Лицо Прасковьи Павловны просияло.

– Вот это уж по моей части, – сказала она. – Ты, Петенька, верно не пивал этаких наливок... Этим я могу похвастаться. Попробуй вишневки-то, милый мой... Что, какова?

– Чудесная!

– Лучше меня, могу сказать, никто в целой губернии не делает вишневки; все соседи это знают, и Оленьку мою уж я научу, как делать наливки, непременно научу. Хорошей хозяйке все знать следует, а в женщине главное – хозяйство... Вот, примерно, жена вашего управляющего, что в ней? ничего не знает, экономии ни в чем не соблюдает... Ее бы, казалось, дело присмотреть за бабами, все наблюсти, – ничего не бывало. Она сидит себе сложа ручки да только умничает... В эти две недели я таки насмотрелась на нее: у меня все сердце переболело, глядя на ее хозяйство; конечно, мое дело сторона...

Прасковья Павловна обратилась к своей невестке:

– Вот когда ты войдешь, душенька, сама в хозяйственную часть, увидишь, правду ли я говорю. Соседка моя, Фекла Ниловна, – ты ее знаешь, Петенька, – она приехала в деревню, ничего не знала, а там помаленечку начала приглядываться, как и что: у меня, у другой спрашивала советы; советы никогда не мешают, – и теперь любо-дорого смотреть: у нее вся деревня по струнке ходит, в таком страхе всех держит. Какие у нее полотна ткнут, салфетки – настоящие камчатные – прелесть...

Разговор продолжался в этом роде.

После обеда все отправились в диванную; так называлась небольшая комната, уставленная кругом высокими и узкими диванами. Стены ее были украшены тремя большими картинами в великолепных рамах. Картины эти, писанные масляными красками и отличавшиеся необыкновенною яркостью колорита, привлекали некогда просвещенное любопытство многих помещиков, и слава творца их Пантелея – крепостного живописца помещика села Долговки – прогремела по целой губернии. На двух картинах живописец изобразил своего барина, по его приказанию, в разных моментах его деятельности. На одной картине, занимавшей почти всю стену, барин представлен был величественно сидящим на коне, в охотничьем платье и картузе, спускающий со своры двух любимых собак своих, Зацепу и Занозу, на матерого русака, только что выгнанного гончими из острова... На другой он являлся в архалуке и с нагайкою в руке, любующимся на одетого по-рыцарски шута, своего любимца, которого конюх сажал на лошадь. Предметом третьей картины была жирная нимфа, покоящаяся в лесу, списанная с дворовой девки Палашки, и сатир, смотрящий на нее из-за кустов.

Петр Александрыч занялся рассматриванием этих картин в ту минуту, как Прасковья Павловна разговаривала о чем-то с своею невесткою. Последняя картина в особенности привлекла его внимание...

Нимфа Палашка, по странной прихоти природы, как две капли воды походила на горничную Прасковьи Павловны Агашку, которая в эту минуту выглядывала из полурастворенной двери на приезжих господ. Это сходство не ускользнуло от любознательного Петра Александрыча. Заметив Агашку, он улыбнулся про себя с приятностию.

Между тем Прасковья Павловна приветливо обратилась к своей невестке.

– А что, Оленька, – сказала она, – я слышала, что ты удивительная музыкантша?

– Еще бы! – воскликнул Петр Александры?. – Ее в Петербурге ставили наряду с первыми пианистками. Недаром же я прислал сюда рояль... я за него заплатил тысячу восемьсот рублей. К тому же она еще певица: у нее премилый голос!

– Приятно иметь такие таланты, моя душенька, очень приятно. Уж я воображаю, как ты блестела в свете и как мой Петенька, глядя на тебя, радовался. Ведь ты, я думаю, беспрестанно была на балах, дружочек?

– Нет, я выезжала мало, только к самым близким знакомым, – отвечала Ольга Михайловна.

– Мало? Отчего же мало, мое сердце? Почему же молодой женщине не выезжать?

Дочь бедных, но благородных родителей улыбнулась и возразила:

– Вероятно, вы шутите?

– Совсем не шучу, – сказала Ольга Михайловна, улыбаясь, – отчего же это вас так удивляет?

– Ах, помилуйте, как же не выезжать на балы?

– Она у меня такая странная, – заметил Петр Александрыч, потягиваясь на диване, – я хотел ввести ее в высший круг, а она и слышать не хотела. Она склонна к меланхолии – это болезнь; я все говорю, что ей надо лечиться. Я предлагал ей самых первых докторов, которым у нас платят обыкновенно рублей по двадцати пяти, даже по пятидесяти за визит, – да она не хочет.

– Олечка, ангел мой! Правда ли это?

– Нет, вы не верьте ему; он обыкновенно все преувеличивает, – я совершенно здорова.

В эту минуту Петр Александрыч смотрел на дверь, откуда выглядывала Агашка.

– Деревенский воздух поможет тебе, моя душенька. Недурно бы тебе декохту попить...

– Выборничиха к вам пришла, – пробасил вошедший Антон.

– К кому «к вам»? – возразила Прасковья Павловна, – это, верно, не ко мне, а к Оленьке.

– Ну да, к ним-с.

– Зачем же ко мне? – спросила Ольга Михайловна.

– Верно, она тебе, душенька, нашего деревенского гостинца принесла.

Прасковья Павловна не ошиблась; выборничиха стояла в передней с сотовым медом. Ольга Михайловна вышла к ней.

– Матушка наша, кормилица! – говорила выборничиха, кланяясь и подавая мед, – прими, голубушка, медку-то моего, кушай его на здоровье.

Выборничиха поклонилась ей в ноги.

– Не нужно, не нужно, не кланяйтесь в ноги, я прошу вас, – заметила смущенная Ольга Михайловна.

– Не прогневайся, матушка наша, – отвечала выборничиха, – уж у нас такое заведение.

– Подожди меня немного, я сейчас приду, – сказала Ольга Михайловна.

Она ушла и минуты через две воротилась.

– Спасибо тебе за твой мед. Вот, возьми себе. Ольга Михайловна вложила в руку выборничихи пятирублевую ассигнацию.

Выборничиха остолбенела.

– Что это, кормилица? на что мне это, матушка ты наша?

Выборничиха низко поклонилась. Но Ольги Михайловны уже не было в комнате. Антон, свидетель этой сцены, подошел к выборничихе.

– А что, много ли дала? – спросил он у нее. Выборничиха показала ему синюю ассигнацию. Антон нахмурился, взял ассигнацию; несколько минут смотрел на нее разгоревшимися глазами, поднес к свету и потом, возвращая ее выборничихе, проворчал недовольным голосом:

– Пятирублевая! Вишь, какая щедрая! По-питерски, видно, денежками-то сорит.

– Ах, Антон Наумыч, – заметила выборничиха, все еще не сводя глаз с ассигнации, – она что-то, родимый, и на барыню-то непохожа: такая добрая!

Антон отошел от выборничихи, ворча:

– Нашла кому деньги дарить! Добро бы человеку понимающему, а то дуре этакой. Она не понимает, что и деньги-то. Вот и служи тут тридцать лет...

Антон махнул рукой.

Ольга Михайловна возвратилась в диванную в то время, как Петр Александрыч описывал свое петербургское житье. Его описание, по-видимому, производило сильное впечатление на Прасковью Павловну и на дочь бедных, но благородных родителей.

– Меня все знали в Петербурге, – говорил Петр Александрыч, – решительно все. Если бы я продолжал службу, я имел бы уж большой чин. – Говорят, что я вел большую игру... Да как же было не вести большой игры? Это было необходимо для поддержания связей... Со всеми этими господами нельзя же играть по десяти рублей роббер. Дмитрий Васильич чем выигрывал в свете? – картами. И согласитесь наконец, что же делать без карт? ну, холостой, я танцевал; положим, это холостому прилично, а женатому неловко, да и что танцами возьмешь? И что за важность, что я немного проигрался? Для человека, у которого такое состояние, как у меня, это не беда. Вышел в отставку, пожил в деревне, расплатил долги, накопил немножко – да и опять марш в Петербург. Проиграл сто восемьдесят тысяч – экая важность! я иногда в вечер по тридцати тысяч выигрывал – что такое? Заложишь имение, а там сделаешь оборот – и опять пошел себе... Можно увеличить оброк... А что, маменька, каковы наши соседи? Чудаки, я думаю, пресмешные должны быть.

– Соседи у нас очень хорошие, прекрасные, нигде не ударят себя лицом в грязь. Вот, например, Семен Никифорыч Колпаков... я ему еще выписала через тебя жилетную материю, помнишь?..

– А-а! – Гришка, сигарку!

Гришка принес ящик с сигарами. Прасковья Павловна осмотрела Гришку с ног до головы и всплеснула руками.

– Неужто это твой Гришка? Эх вырос-то! молодец стал, право, молодец! А давно ли, кажется, бегал по двору так, мальчишка крошечный? Господи! время-то, подумаешь, как идет!

Гришка подошел к Прасковье Павловне и поцеловал ей руку.

– Молодец! Тетку-то свою видел, Палагею?

– Как же-с.

– То-то же. Она тебя как сына родного любит... Нет, Петенька, насчет наших соседей – грех сказать. Семен Никифорыч редкий, отличных свойств человек. Обращайтесь с ним, мои милые, поласковее, покажите ему свое внимание, я прошу тебя об этом, Петенька, и тебя, друг мой Оленька. У кого родится сам-пят, сам-шост, а у него все сам-сём да сам-восем. Прошлый год какая у него гречиха была – просто на диво целому уезду. На нем особое, можно сказать, божие благословение.

– А что, он играет в карты, маменька?

– Играет; конечно, не по большой, душа моя, не по-вашему, по-петербургскому; а до карт охотник: и в вист, и в бостон, и в преферанс – во что угодно.

– И в преферанс? браво! Так здесь и в преферанс умеют играть?

– Уж ты нас, провинциалов, голубчик, так ни во что и не ставишь?.. Ну, вот еще у тебя самый ближайший сосед, в двух верстах от тебя, наш уездный предводитель, Боровиков Андрей Петрович, и с большим состоянием человек, вдовец; от покойницы жены у него два сына остались. Он все, бывало, с покойником братцем на охоту ездил и в бильярд играл.

– У Андрея Петровича, – продолжала Прасковья Павловна, – есть меньшой братец, Илья Петрович, холостой. Он сделан опекуном над малолетними Свищевыми – пребогомольный,

претихого нрава, с бельмом на правом глазу. Они, после раздела, с братом поссорились и не видятся друг с другом. Так, право, жалко. Еще человек бесподобный исправник наш...

Прасковья Павловна долго описывала соседей села Долговки, и затем все отправились гулять в сад.

Петр Александрыч, привыкший к столичной чистоте и роскоши, был недоволен своим деревенским запущенным садом и повторял ежеминутно, что надобно вычистить дорожки и посыпать их песком, смешанным с толченым кирпичом.

Приезжие отказались от ужина. Они чувствовали необходимость в отдохновении. Часов в девять все разошлись по своим комнатам. Прасковья Павловна, прощаясь с сыном и невесткою, обнимала, целовала и крестила их; потом отправилась в детскую, посмотрела несколько минут с умилением на спящего внука, также перекрестила его, приговаривая: «Милое дитя, ангел» и проч., и поговорила с столичною нянюшкой, обещая ей подарить обнову.

Этот торжественный день, полный хлопот, тревог и разнообразных впечатлений, обитатели села Долговки и новоприезжие окончили различным образом.

Управляющий, выпивая ерофеичу на сон грядущий, думал:

«А славно все сошло, право! Петр-то Александрыч ничего не смыслит, и его можно надуть сколько душе угодно».

Прасковья Павловна, раздеваясь, рассуждала с дочерью бедных, но благородных родителей о своем сыне и невестке.

– Она, – сказала Прасковья Павловна, – очень мила, но есть что-то в ней странное, – этого нельзя не заметить, – и притом молчаливая какая-то.

– Я, по правде сказать, – возразила дочь бедных, но благородных родителей, снимая платочек с своей гусиной шеи, – совсем от нее не того ждала. И манеры у нее самые обыкновенные. Я не знаю, чему приписать ее неразговорчивость – или она горда, или, может быть... А Петр Александрыч премилый! Я просто им очарована. Что за ловкость, какие манеры, и должен быть большой зоил.

– Я тебе говорила, милая, заранее. В нем такое благородство, таким вельможей смотрит!

Петр Александрыч, потягиваясь на постели, думал: «Право, и в деревне можно найти некоторые удовольствия... Карты, бильярд, охота... у меня же чудесный погреб, по милости дядюшки...»

Петр Александрыч начинал засыпать. «Лафит рублей по восьми бутылка... Агашка недурна...»

Когда Ольга Михайловна осталась одна в своей комнате, она отворила окно. Это окно выходило в сад. На нее пахнул свежий, душистый воздух распускающейся зелени; вековые дубы отбрасывали от себя исполинские тени на широкий луг перед домом, облитый серебряным светом пар подымался от пруда, и сквозь просеку сада виднелись бесконечные поля в синеватом ночном тумане...

Глава III

Петр Александрыч первые два дня после приезда осматривал свои хозяйственные заведения, с сигарою во рту, с лорнетом в правом глазе и с хлыстиком в руке. Все внимание обратил он на псарню, которая была в самом деле устроена превосходно покойным его дядюшкою, величайшим любителем псовой охоты. И хотя содержание ее требовало значительных расходов, но она поддерживалась и после смерти его, как при нем, по приказу нового владельца. Молодой барин долго простоял на псовом дворе, забавляясь с собаками. Из всех собак особенно обратила его внимание одна легавая.

– А как ее кличка?

Управляющий, сопровождавший Петра Александрыча, заикнулся.

Вдруг исполин Антон очутился перед Петром Александрычем и пробасил:

– Тритон-с, любимая была дядюшкина собака; верхочуй.

Петр Александрыч занялся с Тритоном. Антон подошел к управляющему и прошептал, почесывая затылок:

– А что, батюшка Назар Яковлич, поговорите-ка барину-то о прибавке мне месячины... Ей-богу, иной раз ребятишкам есть нечего. Уж когда этак, знаете, что случится, так я готов с моей стороны всякое уважение вам сделать.

Антон искоса и значительно посмотрел на управляющего.

– Хорошо, Наумыч, хорошо, – отвечал управляющий тихим голосом. – Ты знаешь, когда я что сказал, то свято; я, дружок, и без барина могу тебе это сделать, изволь... Барин – человек молодой, он и не станет входить во все эти мелочи.

– Да, именно что так. Ей-богу, Назар Яковлич! Вы всегда обо всем справедливое рассуждение имеете. – Антон понюхал табаку. – Спасибо вам за суконце; только уж не прибавит ли ваша милость еще два аршинчика...

– Изволь, изволь...

Из псарни Петр Александрыч отправился на конский двор; как лошадиный знаток, у каждого стойла он рассекал воздух хлыстиком и, окритиковав дядюшкиных кобыл и жеребцов, захотел взглянуть на водяную мельницу. Управляющий, показывая ему устройство мельницы, объяснил, сколько на ней ежегодно вымалывается хлеба и какие помещики имеют в ней участие по своим купчим. Эти объяснения и рассказы совсем не интересовали Петра Александрыча. За мельницей находилась довольно большая роща, и он пошел к этой роще, насвистывая и напевая какой-то водевильный куплет. Окрестности села Долговки впервые огласились петербургскими звуками, и куплет Александрийского театра смешался с пением и чириканьем божьих птиц... Помещик прошелся по роще и, обратись к управляющему, сказал:

– Знаете, какая у меня блеснула мысль? Из этой рощи недурно бы сделать парк, как в Царском Селе или Петергофе. Право! Тогда бы славно кататься в нем.

– Конечно, это было бы бесподобно, да дорогонько станет, – заметил управляющий почтительно.

– Отчего ж дорогонько? А крестьяне-то на что ж? Нанимать людей, кажется, незачем.

– А кто же барщину-то будет исправлять, Петр Александрыч?

– Барщину? Да, правда. Петр Александрыч засвистал...

Возвращаясь к обеду, на дворе у самого дома он ветрел Агашку. Агашка была одета несравненно чище других дворовых девок и даже обута, тогда как все другие ходили обыкновенно на босую ногу.

Поравнявшись с молодым барином, Агашка кокетливо опустила глаза и поклонилась ему. Петр Александрыч отвечал на этот поклон с большою приветливостию и даже обернулся назад,

с минуту провожая ее взорами. Антон не мог не заметить барского взгляда. Он был одарен большою сметкою и, оставив барина, тотчас отправился за горничной и догнал ее у прачечной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.